

НИКТО



Максим Козлов

18+

Максим Козлов

Никто

<https://litres.ru/74053013>

SelfPub; 2026

Аннотация

Десять добровольцев соглашаются на год полной изоляции в бетонных бункерах. Ни окон, ни зеркал, ни связи с миром. Только серые стены и вопрос: кто ты, когда никто не смотрит? Среди участников — успешный адвокат сорока пяти лет. Месяца за месяцем он теряет память о близких, забывает собственное имя и пишет углём на стене: «Я есть Никто». А потом перестаёт есть. Девять участников сходят с ума. Десятый умирает с улыбкой. Эксперимент признают неэтичным и засекречивают. «Никто» — роман о масках, которые мы носим, и о пустоте, которая прячется под ними. Книга заставляет спросить себя: кто я без работы, семьи и прошлого? Ответ может напугать. Или освободить.

Содержание

Серая дверь	4
Голоса в бетоне	22
Тот, кто смотрит	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Максим Козлов

Никто

Серая дверь

Дверь была серая. Тяжёлая. С круглым штурвалом вместо ручки, как в подводной лодке или в банковском хранилище, где хранят не деньги, а что-то более ценное. А может, и менее. Адвокат стоял перед ней и думал, что у него хорошие ботинки. Ручной работы. Кожаные. Они скрипнули, когда он переступил с ноги на ногу. Скрип кожи был последним знакомым звуком из того мира, который он пока ещё помнил и который пока ещё был его.

— Вы готовы? — спросил человек в белом халате. Халат был накрахмален, но под мышками темнели влажные полукружья. Человек потел, хотя в коридоре было прохладно. Адвокат отметил это машинально — привычка зала суда: подмечать детали, которые выдают нервозность. Пот, бегающий взгляд, пальцы, сжатые чуть сильнее, чем нужно. Человек в халате нервничал. Это было интересно, но не важно.

— Готов, — сказал Адвокат. Голос прозвучал ровно. Он специально сделал его ровным. Как в суде, когда обращаешься к присяжным. Уверенность, которой на самом деле нет, но которую нужно изобразить, чтобы она появилась. Слова,

которые становятся правдой, если произнести их достаточно твёрдо. Он верил в это. Всю жизнь верил.

Человек в халате кивнул. У него было бледное лицо, и он не смотрел Адвокату в глаза. Он смотрел куда-то в район переносицы. Так смотрят люди, которые знают что-то, чего не говорят. Или которые боятся сказать то, что знают. Адвокат встречал таких. Много раз. На скамье свидетелей они выглядят именно так: взгляд в пол или в потолок, лишь бы не в глаза тому, кто задаёт вопросы.

— Вы помните условия, — сказал человек в халате. Это был не вопрос. Это была констатация. — Полная изоляция. Никаких средств связи. Никаких книг. Никаких зеркал. Никаких отражающих поверхностей. Еда подаётся через шлюз. Вода — через отдельный канал. Воздух фильтруется автоматически. Вопросы?

Адвокат покачал головой. Вопросов не было. Он читал контракт три раза. Семьдесят страниц убористого текста. Юридически безупречный документ. В нём было всё: отказ от претензий, согласие на риск, перечисление возможных психических расстройств с латинскими названиями, которые он проверял по медицинскому справочнику. Шизофрения. Деперсонализация. Дерезализация. Слова, которые на бумаге выглядят почти безобидно — просто термины, просто буквы. Но за ними стояло что-то тёмное и вязкое, о чём он предпочитал не думать. Он подписал каждую страницу. Его подпись была твёрдой. Адвокат привык подписывать до-

кументы, за которыми стояли судьбы. На этот раз за документом стояла его собственная.

— Деньги переведены? — спросил он. Не потому, что это было важно. Просто чтобы сказать что-то, что вернёт его в привычную колею. В колею сделок, условий, обязательств. Там он был на твёрдой земле. Там он знал правила.

— Да, — сказал человек в халате. — Вся сумма на счёт вашей жены. Как вы и указали.

Жена. Слово прозвучало странно. Будто оно относилось к кому-то другому. Адвокат представил её лицо. У неё были светлые волосы, собранные в пучок на затылке, и маленькая родинка над левой бровью. Или над правой? Он вдруг не мог вспомнить. Это было неприятно — как заноза, которую чувствуешь, но не можешь найти. Он отогнал мысль. Сейчас не время. Потом будет время. Целый год. Можно будет вспоминать всё, что захочешь. Можно будет прокручивать в голове каждую минуту прожитой жизни, как старую плёнку. На это уйдёт много времени, и это хорошо. Времени будет много.

— Откройте, — сказал Адвокат.

Человек в халате подошёл к двери. Штурвал повернулся с тихим скрежетом — смазан, но не до конца, металл трётся о металл где-то в глубине механизма, старый звук, древний. Дверь открылась. За ней была темнота. Не полумрак, не сумерки — абсолютная, плотная темнота, в которую нужно было войти. Адвокат шагнул вперёд. Ботинки стукнули о бетонный пол. Звук получился глухой, как в склепе.

— Свет включится автоматически через тридцать секунд после закрытия двери, — сказал человек в халате уже из-за спины. — Это часть протокола. Чтобы вы прочувствовали переход.

— Хорошо, — сказал Адвокат, не оборачиваясь.

Дверь закрылась. Штурвал скрежетнул снова — теперь с той стороны. Звук был окончательным. Таким звуком закрываются вещи, которые не открыть изнутри. Адвокат знал этот звук. Он слышал его однажды, когда водили на экскурсию в тюрьму ещё в университете. Тогда это была игра, часть учебного процесса. Сейчас это была не игра.

Темнота была абсолютной. Он стоял и ждал. Тридцать секунд. Он считал в уме. Один, два, три. На счёте «семь» ему показалось, что стены начали двигаться. На счёте «двенадцать» он перестал чувствовать пол под ногами — было ощущение, что он висит в пустоте, как космонавт, которого забыли в открытом космосе. На счёте «девятнадцать» он испугался, что свет не включится. Что произошла ошибка. Что он будет сидеть в темноте год. Или больше. На счёте «двадцать три» он понял, что если свет не включится, он сойдёт с ума через двое суток. Максимум через трое. На счёте «двадцать восемь» он понял, что двое суток — это оптимистичный прогноз. На счёте «тридцать» свет включился.

Он зажмурился — резко, до боли в веках. Свет был белый, больничный, беспощадный. Он проникал сквозь закрытые веки, окрашивая мир в красный. Адвокат постоял так с

минуту, привыкая. Потом открыл глаза.

Комната была маленькой. Меньше, чем он ожидал. Метра три в длину, метра два с половиной в ширину. Бетонные стены, выкрашенные в светло-серый цвет. Пол — такой же бетонный, но без краски, просто серый камень, гладкий от шлифовки. Потолок — высокий, метра три, и это было хорошо. С высоким потолком легче дышать. В углу — кровать. Железная рама, матрас без простыни, подушка без наволочки. Одеяло — серое, солдатское, сложенное вчетверо в ногах. Напротив кровати — унитаз без сиденья. Раковина. Две кнопки на стене — красная и зелёная. Под ними надпись печатными буквами: «КРАСНАЯ — ТРЕВОГА. ЗЕЛЁНАЯ — ПОДАЧА ПИЩИ». В противоположной от двери стене — шлюз. Металлический ящик размером с микроволновку, с двумя дверцами — внутренней и внешней. Сейчас обе были закрыты.

Ни окон. Ни зеркал. Ничего, в чём можно увидеть отражение. Даже металлические части были матовые, специально обработанные. Это было в контракте, и они выполнили условие. Они вообще всё выполнили. Профессионалы. Адвокат оценил. Ему нравились профессионалы. Он сам был профессионалом.

Он сел на кровать. Матрас прогнулся, пружины скрипнули — старые пружины, звук из детства, с дачи, где он проводил лето у бабушки. Странно, что он вспомнил это сейчас. Дача была маленькая, деревянная, с печным отоплением. Ба-

бушка пекла пирожки с капустой. Ему было лет семь. Или восемь. Или шесть. Неважно. Сейчас важно было другое.

Адвокат оглядел комнату ещё раз. Теперь внимательно. Он составлял опись, как при приёме дела. Стены — четыре штуки. Потолок — один. Пол — один. Кровать — одна. Унитаз — один. Раковина — одна. Кнопки — две. Шлюз — один. Лампа на потолке, за матовым плафоном — одна. Всё. Больше ничего. И это «ничего» будет его миром на ближайший год. 365 дней. 8760 часов. Он посчитал в уме — на это ушло несколько секунд. 525600 минут. Цифра была большой, но не пугающей. Пока не пугающей.

Он лёг на кровать и уставился в потолок. Бетон был неровный — там, где опалубка дала течь, остались наплывы, маленькие сталактиты, застывшие навсегда. Он начал считать их. Один, два, три. Досчитал до пятидесяти трёх и сбился. Начал снова. Досчитал до сорока семи и понял, что это бессмысленно. Они никуда не денутся. У него будет много времени, чтобы их посчитать. Очень много.

Он закрыл глаза.

Когда он проснулся, время уже пошло. Он не знал, сколько прошло — час или пять. Часов у него не было. Это тоже было в условиях эксперимента: никаких приборов для измерения времени. Только внутренние ощущения. Циркадные ритмы. Так это называлось в документе. «Исследование влияния социальной депривации на циркадные ритмы человека». Красиво. Научно. И совершенно непонятно для обыч-

ного человека. Адвокат это понимал, но всё равно подписал. Он привык доверять документам, в которых были сложные термины. Это было его ошибкой — одной из многих, которые он совершил в жизни и о которых ещё не знал.

Он подошёл к зелёной кнопке и нажал. Ничего не произошло — ни звука, ни светового сигнала. Он нажал ещё раз, с усилием, как будто это могло что-то изменить. Тишина. Он подождал минуту. Две. Три. Захотелось нажать красную. Просто чтобы проверить, работает ли она. Но он сдержался. Красная — это тревога. Это конец эксперимента. Это значит, что он сдался. Адвокат никогда не сдавался. Ни в одном деле. Даже в том, которое он проиграл десять лет назад — он знал, что проиграет, но всё равно шёл до конца, до последнего аргумента, до последней апелляции, хотя знал, что шансов нет. Это было его принципом. Может быть, единственным принципом, который у него был настоящий, а не придуманный для удобства.

Через какое-то время — он не знал, через какое, но достаточно долгое, чтобы успеть полежать, походить из угла в угол (ровно четыре шага в длину, три с половиной в ширину), ещё раз посчитать наплывы на потолке (пятьдесят семь штук, если считать и те, что размером со спичечную головку) — в шлюзе что-то зашуршало. Он подошёл. Открыл внутреннюю дверцу. Там стоял поднос. Еда. Он достал его.

Еда была простая. Каша. Рисовая или овсяная — он не сразу понял. Кусок варёного мяса. Хлеб. Пластиковый ста-

кан с водой. Ни соли, ни перца, ни сахара. Никаких излишеств. Только то, что нужно для поддержания жизни. В контракте было сказано: «Питание, сбалансированное по калориям и микроэлементам». И они выполнили условие. Профессионалы. Он съел всё. Вкуса почти не почувствовал. Жевал механически, глядя в стену. Стена была серая. Очень серая. Серая настолько, что глаз не мог за неё зацепиться. Ему захотелось плюнуть на стену, просто чтобы оставить пятно, просто чтобы было на что смотреть, кроме этой ровной, стерильной серости. Но он не стал. Это было бы началом конца. Он понимал это пока ещё ясно.

Первый день закончился. Или ночь. Или утро. Он не знал. Свет в комнате горел постоянно — ровный, белый, без теней. Это было сделано специально, чтобы сбить циркадные ритмы. Ещё один пункт из контракта. «Световой режим: постоянный, без циклических изменений. Интенсивность — 400 люкс». Адвокат не знал, много это или мало. Но спать при свете было трудно. Он накрыл лицо одеялом, но свет проходил сквозь ткань, превращая темноту в серый полумрак. Он долго ворочался, потом провалился в сон — тяжёлый, без сновидений.

Проснулся от тишины. Она была абсолютной. Такой тишины он не слышал никогда. Даже ночью в загородном доме были звуки — ветер, холодильник, дыхание жены рядом. Здесь не было ничего. Только гул вентиляции — низкий, едва слышимый, на грани восприятия. И тишина, которая ле-

жала поверх этого гула, как масло на воде. Адвокат полежал, прислушиваясь к собственному дыханию. Вдох. Выдох. Звук получался громкий, неестественно громкий в этой тишине. Он попробовал дышать тише — не получилось. Тогда он попробовал не дышать вообще — продержался секунд тридцать, потом лёгкие загорелись, и он с шумом втянул воздух. Звук заметался по комнате, отразился от стен и умер. Тишина сомкнулась снова.

Прошло три дня. Или четыре. Он считал по приёмам пищи. Еду приносили раз в сутки — он так думал, во всяком случае. Но интервалы между подачами были неравномерными. Иногда еда появлялась через короткое время, иногда — через долгое. Это тоже было частью эксперимента. «Нерегулярный режим кормления для дезориентации во времени». Адвокат помнил эту строчку из контракта. Тогда она показалась ему незначительной. Сейчас она начала его злить. Он привык контролировать время. У него был ежедневник — кожаный, с золотым обрезом, подарок партнёров на сорокалетие. Там каждая минута была расписана. Встречи, заседания, дедлайны. Он жил по расписанию и любил это. Расписание давало ощущение, что жизнь упорядочена. Что она имеет смысл. Что ты движешься из точки А в точку Б по прямой, а не кружишь на месте, как слепой щенок.

Теперь времени не было. Он пытался считать секунды, но сбивался на второй тысяче. Пытался считать шаги, но это не помогало. Время превратилось в вязкую субстанцию, ко-

торая то растягивалась, как жвачка, то схлопывалась в точку. Он мог лежать на кровати, и ему казалось, что прошёл час, а на самом деле — десять минут. Или наоборот: он закрывал глаза на мгновение, а проходило несколько часов. Он потерял нить. Она оборвалась где-то между вторым и третьим приёмом пищи. Или между третьим и четвёртым. Он не помнил точно.

Он начал разговаривать сам с собой. Сначала это были обрывки мыслей, просто произнесённые вслух. Он говорил: «Надо встать» — и вставал. Говорил: «Пойду попою» — и шёл к раковине. Это помогало структурировать реальность. Слова были как гвозди, которыми он прибивал себя к миру. Потом он начал комментировать свои действия. «Я сейчас сажусь на кровать. Кровать скрипит. Я чувствую, как пружины упираются в спину. Мне неудобно, но я не двигаюсь, потому что хочу понять, что такое неудобство». Он говорил это вслух, и голос звучал глухо, как из бочки.

Потом он начал спорить с собой.

— Нужно продержаться, — говорил он.

— Зачем? — спрашивал он сам себя, но другим голосом, чуть выше.

— Потому что я подписал контракт.

— Контракт — это бумага. Бумага не имеет значения.

— Контракт имеет значение. Я адвокат. Я знаю.

— Ты не адвокат. Ты человек в бетонной коробке. Адвокат остался снаружи.

Этот диалог испугал его. Не сами слова — они были логичны. Испугало то, что второй голос звучал убедительнее. Он был спокойнее, увереннее. Он не боялся. А первый голос боялся. И этот страх был слышен — в интонациях, в паузах, в дрожании голосовых связок, когда он произносил слово «контракт».

Адвокат замолчал. Он решил больше не говорить. Это было решение взрослого человека, который понял, что идёт по тонкому льду. Нужно остановиться. Нужно замереть. Нужно дожидаться, пока лёд замёрзнет снова. Он сел на кровать, обхватил колени руками и закрыл глаза. Тишина была ответом. Она была всегда. Она была единственным собеседником, который никогда не спорил.

Неделя прошла. Или две. Он перестал считать. Это произошло незаметно — просто в какой-то момент он поймал себя на том, что не знает, сколько раз нажимал на зелёную кнопку. Может, десять. Может, двадцать. Цифры потеряли значение. Они были нужны там, снаружи, где имело значение, сколько тебе лет, сколько денег на счету, сколько дней до отпуска. Здесь не было ничего из этого. Здесь была только серая комната и человек в ней. И этот человек постепенно переставал быть Адвокатом. Он ещё помнил, что был им. Но это воспоминание тускнело, как старая фотография на солнце. Контуры размывались, детали исчезали.

Однажды он проснулся и не смог вспомнить лицо жены. Он помнил, что у неё были светлые волосы. Помнил родин-

ку. Но где именно была эта родинка? Над левой бровью или над правой? И была ли она вообще? Он напрягал память — ту самую память, которая когда-то удерживала сотни томов судебных дел, тысячи имён, дат, номеров статей. Память не отвечала. Она молчала, как испорченный жёсткий диск, который жужжит, но не выдаёт данных. Он попытался вспомнить её голос. Не получилось. Помнил только, что голос был высокий. Или низкий? Он не был уверен. Он помнил звук её шагов — каблуки стучали по паркету в прихожей. Или это были не её шаги? Может, это была секретарша из офиса? У секретарши тоже были каблуки. И светлые волосы. И родинка.

Он перестал думать об этом. Это было слишком трудно. Воспоминания требовали усилий, а усилия — воли. Воля ещё была, но она таяла, как масло на сковороде. Он это чувствовал. Раньше он мог заставить себя работать по шестнадцать часов. Мог не спать сутками, готовя защиту. Мог держать в голове сорок аргументов одновременно и вынимать их в нужный момент, как фокусник вынимает кроликов из шляпы. Теперь он не мог заставить себя даже встать с кровати. Он лежал и смотрел в потолок. Наплывы на бетоне складывались в лица. Иногда ему казалось, что это лицо его матери. Иногда — школьного учителя математики, у которого были жёлтые зубы и привычка дышать в затылок, когда проверял контрольные. Иногда — его собственное лицо, которого он не видел уже много дней. Или недель. Или месяцев.

Время перестало существовать. Оно умерло. Он не заметил, когда это произошло. Может быть, на тридцатый день. Может, на сороковой. Он просто перестал о нём думать. Внутренние часы сломались, и стрелки застыли на каком-то неизвестном часе, который ничего не значил. Сон и бодрствование смешались в однородную массу. Он мог спать десять часов, а бодрствовать двадцать минут. Или наоборот. Он не знал. Он просто существовал в этом сером пространстве, которое не менялось никогда. Оно всегда было одинаковым. Одинаковый свет. Одинаковые стены. Одинаковый гул вентиляции. Одинаковая каша в подносе. Одинаковый вкус воды из раковины. Одинаковое всё.

Он начал бояться, что забывает слова. Это было новое чувство — страх потерять язык. Язык был последним, что связывало его с миром людей. Пока есть слова — он человек. Если слов не станет — он станет животным. Или растением. Или камнем. Он начал тренироваться: называл предметы вокруг себя. Кровать. Стена. Потолок. Лампа. Кнопка. Шлюз. Вода. Воздух. Я. Он повторял эти слова снова и снова, как молитву. Слова были его спасением. Или ему так казалось.

Однажды он попытался написать своё имя на стене. Угля не было, но он заметил, что подошва ботинок оставляет на бетоне тёмные полосы. Он снял ботинок и попробовал вывести буквы. Получалось плохо — подошва крошилась, линия была прерывистой. Но он справился. На стене появилось имя. Он смотрел на него и не понимал, чьё оно. Буквы были

знакомые, но они ничего не значили. Просто символы. Как иероглифы на стене египетской гробницы, которые никто не может прочесть уже три тысячи лет. Он провёл пальцем по буквам. Они были шершавые. Он закрыл глаза и попытался вспомнить человека, которому принадлежало это имя. Не смог. Там, где раньше были воспоминания, теперь была пустота. Ровная, серая, как стены его комнаты.

Он лёг на пол. Бетон был холодный. Это было новое ощущение. Он давно не чувствовал ничего нового. Холод пробрался сквозь одежду, дошёл до кожи, потом до костей. Он лежал и чувствовал, как холод растекается по телу, как вода по трещинам в асфальте. Это было приятно. Это было хоть что-то. Он закрыл глаза и попытался представить себе лес. Деревья. Небо. Ветер. Не получилось. Картинка не собиралась. В голове была только серость. Он открыл глаза. Ничего не изменилось. Он закрыл глаза снова. Теперь он пытался представить лицо человека, которого любил. Когда-то. В прошлой жизни, которая, возможно, была сном. Лицо не появлялось. Только серый туман. Только пустота.

Он заплакал. Слёзы потекли по щекам — горячие, солёные. Он слизывал их языком. Вкус соли был знакомым. Это было доказательством, что он ещё жив. Что тело ещё работает. Что слёзные железы ещё выделяют жидкость. Что он ещё способен чувствовать хоть что-то. Он плакал долго. Потом перестал. Слёзы кончились. Или просто перестали идти. Он не знал. Он лежал на холодном полу, глядя в серый по-

толок, и думал, что если он сейчас умрёт, об этом никто не узнает. Его найдут через несколько месяцев — или сколько там осталось до конца эксперимента. Найдут тело. Вынесут. Составят акт. Эксперимент признают неудачным. Жена получит страховку. Дети — наследство. Мир будет жить дальше. Всё будет так же, как было. И это было самое страшное. Не смерть. А то, что смерть ничего не изменит.

Он сел. Вытер лицо рукавом. Встал. Подошёл к зелёной кнопке. Нажал. Подождал. Ничего. Он нажал ещё раз. И ещё. И ещё. Он давил на кнопку снова и снова, пока палец не заболел. Ничего не происходило. Может быть, система сломалась. Может быть, они решили прекратить подачу пищи. Может быть, эксперимент уже закончился, а ему забыли сказать. Может быть, он умер и это ад. Серая комната навсегда. Без времени, без памяти, без имени. Только он и тишина. Только он и пустота.

Он засмеялся. Смех получился хриплый, как кашель больной собаки. Он смеялся и не мог остановиться. Смех эхом отражался от стен, возвращался к нему, умножался. Кажалось, что смеётся не один человек, а несколько. Целая комната людей, которые смеются над ним. Он закрыл рот ладонью. Смех прекратился. Стало тихо.

В этой тишине он услышал шорох в шлюзе. Еда пришла. Он открыл дверцу. Поднос. Каша. Мясо. Хлеб. Вода. Он взял поднос и сел на кровать. Ел медленно, тщательно пережёвывая. Еда была безвкусной, но он ел. Потому что надо было

есть. Потому что тело требовало топлива. Потому что он пока ещё был жив.

После еды он лёг и устался в потолок. Лица на бетоне исчезли. Теперь это были просто наплывы. Просто неровности штукатурки. Просто дефекты поверхности, которые ничего не значили. Он смотрел на них и думал, что, наверное, так выглядит истина. Истина — это серая стена. В ней нет смысла. Её не нужно понимать. На неё просто нужно смотреть. И тогда она перестаёт что-либо значить. И тогда становится легче. Или не становится. Это не важно.

Он закрыл глаза и стал ждать. Он не знал, чего ждёт. Может быть, конца эксперимента. Может быть, смерти. Может быть, чуда. Он просто лежал и ждал. Время шло мимо него — огромное, бесконечное, равнодушное. Оно текло, как река, а он был камнем на дне этой реки. Река обтекала его, шлифовала, делала гладким. Постепенно он переставал быть тем, кем был. Он становился никем. Просто существом в бетонной коробке. Без имени, без прошлого, без будущего. Только здесь и сейчас. Только это мгновение, которое длилось вечно.

Он не знал, сколько прошло дней, когда заметил первые слова на стене. Это был его почерк — он узнал эти неровные буквы, которые выводил ботинком. Но слов было больше, чем он помнил. Целая стена была исписана. Он встал и подошёл ближе. Читал. Буквы складывались в слова, но слова ничего не значили. Имена. Даты. Обрывки фраз. «Помни».

«Не забудь». «Ты ещё здесь». Он водил пальцем по строчкам и не мог понять, кто это писал. Это был он, но какой-то другой он. Тот, который ещё помнил. Тот, который ещё боролся. Тот, который уже исчез.

Он сел на корточки у стены и закрыл лицо руками. Ему захотелось молиться, но он не помнил ни одной молитвы. Ему захотелось петь, но он не помнил ни одной песни. Ему захотелось кричать, но он боялся, что крик останется без ответа. И это будет самое страшное. Хуже, чем темнота. Хуже, чем голод. Хуже, чем боль. Тишина, которая отвечает на твой крик. Тишина, которая говорит тебе, что ты один. Что ты всегда был один. Что ты и есть одиночество.

Он открыл рот, но не издал ни звука. Голос пропал. Может быть, он разучился говорить. Может быть, говорить стало не с кем. Может быть, слова кончились, как кончаются патроны в обойме. Он сидел на корточках у стены, и изо рта у него вырывался только воздух — тёплый, влажный, беззвучный.

Вентиляция гудела. Свет горел. Шлюз молчал. Эксперимент продолжался. Первый месяц подходил к концу, но он этого не знал. Он вообще больше ничего не знал. Он просто сидел у серой стены и был никем. И никем он был впервые за сорок пять лет. И никем ему было странно. И никем ему было хорошо.

Он улыбнулся. Улыбка получилась кривая, как трещина на бетонной плите. Он не видел этой улыбки — зеркал не было. Но он почувствовал, как растянулись мышцы лица. Это

было новое ощущение. Или старое, забытое. Он не знал. Но ему понравилось. Он улыбнулся ещё раз. И ещё. А потом засмеялся — беззвучно, одними плечами, которые вздрагивали, как от рыданий. Но это был смех. Первый настоящий смех за долгое время. Смех человека, который понял что-то важное. Или который всё забыл. Что, в сущности, одно и то же.

Голоса в бетоне

На шестьдесят третий день он начал слышать голоса. Сначала ему казалось, что это вентиляция. Вентиляция гудела на одной ноте — низкой, как контрабас, который расстроили и бросили в подвале. Но в этом гудении прорезались звуки. Они были тихие, неразборчивые, как радио, пойманное между станциями. Шипение. Шёпот. Обрывки слов, которые то возникали, то пропадали, не оставляя смысла. Он лежал на кровати, закрыв глаза, и слушал. Вентиляция говорила с ним. Или ему это казалось. Разницы больше не было.

Он помнил, что раньше была разница. Раньше были факты — твёрдые, как кирпичи, из которых можно строить. Факты можно было потрогать, проверить, предъявить в суде. Теперь фактов не было. Было только ощущение, что вентиляция хочет что-то сказать. Что-то важное. Он прижимался ухом к стене, где проходила решётка воздуховода, и слушал, затаив дыхание. Металл был холодный. Звук вибрировал в костях черепа, проходил сквозь зубы, отдавался в челюсти. Голос был женский. Или мужской. Или детский. Он не мог понять. Голос менялся, как вода меняет цвет в зависимости от неба.

— Кто ты? — спросил он у вентиляции. Слова вышли хриплые — горло отвыкло говорить. Язык ворочался с трудом, как поршень в пересохшем цилиндре.

Вентиляция замолчала. Перестала гудеть. Он отпрянул от стены. Тишина ударила по ушам, как давление воды на глубине. Потом вентиляция включилась снова, и голос вернулся. Теперь он был ближе. Он был внутри головы. Или он всегда был внутри головы, а вентиляция тут ни при чём. Он не знал. Он сел на кровать и обхватил голову руками. Голос что-то шептал — неразборчиво, но настойчиво. Как мать, которая хочет разбудить ребёнка в школу. Как жена, которая говорит что-то с кухни, пока ты чистишь зубы. Слов не разобрать, но интонация знакомая. Родная.

— Замолчи, — сказал он. — Замолчи, я прошу тебя.

Голос не замолчал. Он стал громче. Теперь он слышал слова. Или ему казалось, что он слышит. «Ты не один». «Я здесь». «Я всегда была здесь». «Ты просто не слушал». Он встал и начал ходить по комнате. Четыре шага в длину. Три с половиной в ширину. Поворот. Ещё четыре. Ещё поворот. Голос не отставал. Он шёл за ним, как приклеенный. Как тень, которая не исчезает даже в полной темноте. Хотя какая тут темнота. Свет горел всегда. Четыреста люкс. Он помнил эту цифру. Помнил потому, что прочитал её в контракте, который подписал когда-то. Когда-то — это было в другой жизни. В жизни, где был смысл, и были документы, и были цифры, которые что-то значили.

Голос был женский. Теперь он точно это знал. Женский голос, мягкий, с хрипотцой. Такой голос был у его первой женщины. Или у второй. Он не помнил. Помнил только, что

такой голос был у кого-то, кто любил его. Или делал вид, что любит. Что, в сущности, одно и то же, если ты адвокат и привык иметь дело с представлениями. Представление — это когда человек играет роль. Когда он говорит слова, которые не являются правдой, но становятся ею, потому что их произнесли. Он сам так делал сотни раз. В суде. Дома. В постели. С детьми. С друзьями. Везде.

— Ты не настоящая, — сказал он голосу. — Ты — это я. Я тебя придумал.

— Конечно, — ответил голос. — А кто же ещё?

Это было неожиданно. Он ожидал сопротивления. Ожидал, что голос будет спорить, доказывать, что он отдельный, самостоятельный. Но голос согласился. Согласился сразу, без борьбы, без аргументов. Это было страшнее, чем если бы он спорил. Потому что это значило, что голос знает. Знает, что он ненастоящий, и ему всё равно. Ему не нужно быть настоящим, чтобы существовать. Ему достаточно того, что он есть. Достаточно того, что он звучит.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— А как ты хочешь? — ответил голос.

Он задумался. Имён было много. Слишком много. За сорок пять лет он слышал тысячи имён. Клиенты. Судьи. Секретарши. Любовницы. Друзья детства, которых он забыл, но чьи имена ещё хранились где-то в подвалах памяти. Он мог выбрать любое. Мог назвать голос Марией. Анной. Еленой. Викторией — как жену. Или Елизаветой — как мать. Но это

было бы неправдой. Голос не был никем из них. Голос был просто голосом. У него не было имени, потому что имя — это социальная роль, а у голоса не было социальных ролей. Он был чистым существованием. Чистым звуком. Чистым «я есмь», без прилагательных и существительных.

— У тебя нет имени, — сказал он.

— Правильно, — ответил голос. — Ты хорошо справляешься.

— Справляюсь с чем?

— С экспериментом. С жизнью. Со смертью. Со всем сразу.

Он сел на пол. Бетон был холодный. Это было хорошо. Холод возвращал в тело. Напоминал, что у него есть тело. Что он не просто голос, который разговаривает с другим голосом. Что он — человек. Пока ещё человек. Или то, что от него осталось.

— Что ты хочешь? — спросил он.

— Ничего, — сказал голос. — Я просто здесь. Как и ты. Просто здесь. Без цели. Без смысла. Без прошлого. Без будущего. Только сейчас. Только этот момент. Разве этого мало?

Он подумал. Раньше этого было мало. Раньше ему нужно было больше. Нужно было выигрывать дела. Нужно было зарабатывать деньги. Нужно было быть лучшим. Лучшим адвокатом. Лучшим мужем. Лучшим отцом. Лучшим любовником. Лучшим другом. Лучшим всем. Это была гонка без финиша, и он бежал в ней сорок пять лет, не останавливаясь,

не переводя дыхания. А теперь гонка кончилась. Теперь он сидит на бетонном полу в серой комнате, и у него нет ничего. Ни побед, ни поражений, ни планов, ни амбиций. Только он и голос. И этого достаточно. Впервые в жизни этого было достаточно.

— Может быть, я умер, — сказал он.

— Может быть, — согласился голос. — Какая разница?

Разницы действительно не было. Он попытался вспомнить, как выглядит смерть. Не смог. В голове была пустота. Раньше он думал, что смерть — это туннель, свет в конце, ангелы, черты, суд, приговор. Картинки из воскресной школы, куда его водили в детстве. Теперь он понимал, что смерть — это просто продолжение. Просто ещё одна комната. Просто ещё одна стена, на которую можно смотреть. Ничего особенного. Ничего страшного.

— Я адвокат, — сказал он вслух. — Или был им.

— Был, — подтвердил голос. — Теперь ты просто человек. Просто существо. Просто сознание, которое осознаёт само себя. Это больше, чем адвокат. Это больше, чем любая профессия. Это чудо. А ты его не замечал сорок пять лет.

Он заплакал. Слёзы текли по щекам, попадали в рот. Солёные. Он не вытирал их. Они были доказательством того, что он ещё жив. Или того, что он умирает. Одно другому не мешало. Он плакал и слушал голос, который говорил ему что-то успокаивающее — что-то про то, что всё будет хорошо, что всё уже хорошо, что всё всегда было хорошо, про-

сто он не знал. Он никогда не знал. Он был слишком занят. Слишком занят жизнью, чтобы жить. Слишком занят собой, чтобы быть собой. Слишком занят ролями, чтобы увидеть актёра, который играет эти роли. А актёр всегда был здесь. Всегда. Просто он прятался за масками. За маской адвоката. За маской мужа. За маской отца. За маской успешного человека. За маской неудачника. За маской страха. За маской гордости. За маской всего.

— Сними маски, — сказал голос. — Они тебе больше не нужны.

— Я не могу, — ответил он. — Они приросли. Я не знаю, где кончается маска и начинаюсь я. Я не знаю, есть ли я вообще.

— Есть, — сказал голос. — Ты есть. Просто ты — это не то, что ты думал. Ты — это не твоя работа. Не твоя семья. Не твои деньги. Не твои мысли. Ты — это то, что остаётся, когда всё уходит. Ты — это пустота. И эта пустота и есть ты.

Он засмеялся. Смех был странный — высокий, почти истерический. Пустота. Он боялся пустоты всю жизнь. Заполнял её работой. Заполнял её людьми. Заполнял её вещами, которые покупал и выбрасывал, покупал и выбрасывал. Квартиры. Машины. Костюмы. Часы. Любовницы. Всё это было наполнитель, наполнитель, как в кошачьем туалете. А теперь наполнитель убрали, и осталась только пустота. И эта пустота говорит с ним женским голосом. И эта пустота говорит ему, что он и есть пустота. Что он всегда был пустотой,

только боялся признаться.

— Это правда, — сказал он. — Я пуст. Я всегда был пуст. Я адвокат. Я защищал людей, которым был безразличен. Я обвинял людей, которых не знал. Я зарабатывал деньги, которые не успевал тратить. Я любил женщин, которых не любил. Я растил детей, которых не видел. Я жил жизнь, которая не была моей. Я играл роль в спектакле, сценарий которого написал кто-то другой. Даже не знаю кто.

— Теперь знаешь, — сказал голос. — Теперь ты знаешь.

Он лёг на спину и уставился в потолок. Наплывы на бетоне складывались в лицо. Женское лицо. С мягкими чертами. С лёгкой улыбкой. Это была она — та, что говорила с ним. Он смотрел на неё и чувствовал, как страх уходит. Страх был его постоянным спутником. Он привык к нему, как к больному зубу, который ноет, но к которому привыкаешь. Теперь зуб вырвали. И стало легче. И стало пусто. И пустота не болит.

— Что будет дальше? — спросил он.

— Ничего, — ответил голос. — Или всё. Как захочешь. Ты можешь лежать здесь и ждать конца. Можешь встать и нажать красную кнопку. Можешь умереть. Можешь жить. Выбор есть всегда. Даже когда кажется, что его нет.

— Я не хочу нажимать красную кнопку.

— Я знаю. Ты никогда не сдаёшься. Это твоя лучшая черта. И худшая. Ты держишься за то, чего нет, с упорством, достойным лучшего применения. Но теперь держаться не за что. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— И что ты чувствуешь?

— Ничего. Свободу. Или пустоту. Я не знаю. Они похожи.

Голос замолчал. Он лежал и слушал тишину. Вентиляция гудела. Где-то в трубах журчала вода. Звуки были живые, настоящие. Они наполняли комнату, делали её обитаемой. Комната больше не была тюрьмой. Она была домом. Или утробой. Или могилой. Всё зависело от точки зрения. А точка зрения зависела от него. Всегда зависела. Просто он забыл об этом.

Он вспомнил суд. Последнее дело перед экспериментом. Он защищал человека, который убил свою жену. Убил из ревности. Или из жадности. Или просто потому, что она пилила его двадцать лет, и однажды он не выдержал. Мотивы были не важны. Важно было то, что клиент сидел напротив него — серый, трясущийся, и говорил: «Я не виноват». Адвокат знал, что виноват. Знал наверняка. Но он встал и произнёс речь. Двухчасовую речь, в которой доказал, что клиент — жертва. Жертва обстоятельств, жертва общества, жертва жены, которая его не понимала. Присяжные плакали. Судья вынес оправдательный приговор. Клиент вышел на свободу. Адвокат получил гонорар. Огромный гонорар. И вечером того же дня сидел в ресторане с коллегами, пил коньяк и смеялся. Ему было хорошо. Ему было отлично. Он был лучшим.

Теперь он думал о том клиенте. Где он сейчас? Может, убил кого-то ещё. Может, женился снова. Может, умер от ин-

фаркта в супермаркете, выбирая между двумя сортами колбасы. Неважно. Важно было то, что Адвокат его не судил. Он вообще никого не судил. Суд был игрой. Истина была игрой. Справедливость была игрой. Он играл в эти игры и выигрывал. Но за победами была пустота. Та самая пустота, с которой он сейчас разговаривал.

— Ты жалеешь? — спросил голос.

— О чём?

— О той жизни. О клиентах. О деньгах. О всём.

— Я не знаю. Я не знаю, что такое «жалеть». Я отвык от чувств. Они были роскошью, которую я не мог себе позволить. Адвокат не чувствует. Адвокат думает. Просчитывает. Стратегия, тактика, аргументы. Чувства мешают. Они сбивают прицел.

— А сейчас ты не адвокат. Сейчас ты просто человек. Чувствуй.

Он закрыл глаза и попробовал. Где-то глубоко, под слоями лет, под коркой привычек, под панцирем цинизма, жило что-то. Тёплое. Маленькое. Похожее на котёнка, который тычется мордой в ладонь. Он потянулся к этому ощущению и вдруг заплакал снова. Но теперь это были другие слёзы. Не горькие. Не отчаянные. Просто слёзы. Просто вода, которая выходит из тела. Просто доказательство того, что он жив. Или того, что он умирает. Одно другому не мешало.

Он вспомнил лицо сына. Сыну было пятнадцать. Или шестнадцать. Он не помнил точно. Он помнил только, что у

сына были его глаза. Или глаза его матери. Или глаза кого-то из предков, чьи фотографии пылились в альбомах, которые никто не открывал. Он помнил, как сын смотрел на него — с надеждой, с ожиданием, с вопросом, на который никогда не получал ответа. Потому что отец всегда был занят. Отец всегда был на работе. Отец всегда был в суде, на совещании, в командировке. Отец всегда был где-то ещё, но не здесь. Не с ним. И теперь отца не было совсем. Совсем — это значит, что он в бункере. Что он исчез из жизни сына на год. Но он исчез из неё гораздо раньше. Может быть, в тот день, когда сын родился. Может быть, ещё до этого. Может быть, он никогда в ней не появлялся.

— Я плохой отец, — сказал он.

— Ты был плохим отцом, — поправил голос. — Теперь ты никто. А никто не может быть плохим или хорошим. Никто просто есть.

— Это утешает?

— Это правда. А правда не обязана утешать. Она просто есть.

Он лежал на полу, раскинув руки. Бетон был холодный и твёрдый. Он чувствовал каждую неровность лопатками. Чувствовал, как кровь течёт по венам — медленно, размеренно. Чувствовал, как бьётся сердце — спокойно, ровно, как метроном. Он был жив. Впервые за долгое время он чувствовал, что жив. Не думал об этом, не знал теоретически, а именно чувствовал — телом, кожей, костями. Жизнь была

не концепцией. Жизнь была физическим ощущением. Теплом в груди. Холодом в ногах. Воздухом в лёгких. Кровью в висках. Жизнь была здесь. И она никуда не уходила.

— Почему я раньше этого не замечал? — спросил он.

— Потому что ты думал, что жизнь — это что-то другое. Что-то большое, важное, значительное. А жизнь — это просто быть. Просто дышать. Просто чувствовать холодный пол спиной. Просто слушать, как гудит вентиляция. Просто смотреть на серый потолок. Просто ты не умел останавливаться.

Он лежал и дышал. Вдох. Выдох. Воздух входил и выходил. Лёгкие расширялись и сжимались. Это было похоже на прилив и отлив. На движение океана. На пульсацию вселенной. Он был вселенной. Или вселенная была им. Разницы не было. Границы, которые он выстроил за сорок пять лет, рушились одна за другой. Граница между ним и миром. Граница между ним и другими. Граница между прошлым и будущим. Граница между жизнью и смертью. Всё это было иллюзией. Всё это было игрой, в которую он играл слишком серьёзно.

— Я помню одну вещь, — сказал он. — Когда мне было семь лет, я сидел на крыльце дачи и смотрел на закат. Солнце садилось за лес, и небо было красное, как кровь. Или как апельсин. Или как пожар. Я не знаю, с чем сравнить. Я просто смотрел. И в тот момент я был счастлив. Просто так. Без причины. Я был частью этого заката. Частью неба. Ча-

стью леса. Частью всего. А потом пришла бабушка и сказала: «Иди ужинать, суп стынет». И я пошёл. И забыл об этом на сорок лет.

— Ты не забыл, — сказал голос. — Просто ты перестал смотреть. А теперь ты сновамотришь.

Он открыл глаза. Потолок был серый. Лампочка за матовым плафоном горела ровно, не мигая. Он смотрел на неё и видел тот закат. Видел красное небо. Чёрные силуэты деревьев. Чувствовал запах травы и дыма от соседского костра. Всё это было здесь, в этой серой комнате. Всё это было внутри него. Он носил это с собой всю жизнь, но забыл, как открывать дверь в эти воспоминания. А теперь дверь открылась сама.

— Я могу остаться здесь навсегда, — сказал он.

— Можешь, — ответил голос. — Но не останешься.

— Потому что у тебя ещё есть дела. Есть эксперимент. Есть контракт. Есть обязательства. Ты же адвокат. Ты помнишь, что такое обязательства?

Он засмеялся. Смех был хриплый, как кашель. Обязательства. Да, он помнил. Сорок пять лет он жил по обязательствам. Просыпался по обязательствам. Ел по обязательствам. Любил по обязательствам. Дышал по обязательствам. Обязательства были его тюрьмой. Или его свободой. Он не знал. Но теперь они казались смешными. Смешными, как клоун в цирке. Смешными, как присяжный, который засыпает во время заседания. Смешными, как сама жизнь, кото-

рая кончается, а ты так и не понял, зачем она была.

— Я хочу пить, — сказал он.

— Так попей.

Он встал. Ноги затекли — он слишком долго лежал. Подошёл к раковине. Вода была холодная, с металлическим привкусом. Он пил долго, большими глотками. Вода текла по подбородку, капала на грудь. Он смотрел в стену перед собой и видел своё отражение. Или не видел. Зеркал не было. Но он знал, как выглядит его лицо. Знал каждую морщину. Каждую складку. Каждую пору. Он изучил это лицо за сорок пять лет. Он брил его каждое утро. Умывал. Разглядывал в зеркале, пока чистил зубы. А теперь зеркала не было. И лица не было. Оно существовало только в его памяти. А память была ненадёжна.

— Как я выгляжу? — спросил он у голоса.

— Так же, как всегда, — ответил голос. — Как человек. Как мужчина сорока пяти лет. Как существо с двумя глазами, носом и ртом. Ты хочешь комплиментов? Ты хочешь, чтобы я сказала, что ты красив?

— Я не знаю, чего я хочу. Я вообще не знаю, хочу ли я чего-нибудь.

— Это хорошо, — сказал голос. — Это прогресс. Желания — это страдание. Ты сам знаешь. Буддийская мудрость. Ты читал об этом в какой-то книжке, которую купил в аэропорту и не дочитал.

Он помнил эту книжку. Она была в мягкой обложке, с ло-

тосом на обложке. Он купил её в Хитроу, когда летел на конференцию в Лондон. Конференция была по международному праву. Он должен был выступить с докладом. Доклад был про арбитражные оговорки. Сложная тема. Он готовился три недели. А в самолёте читал книжку про буддизм. Про то, что всё есть страдание. Про то, что желания — корень страдания. Про то, что нужно отпустить привязанности. Он тогда подумал: «Какая чушь». И заказал виски. И открыл ноутбук. И начал править слайды презентации. И забыл про книжку. Она осталась в кармане кресла. Может быть, её нашёл кто-то другой. Может быть, её выбросили. Может быть, она до сих пор там.

Теперь он думал, что та книжка была права. Желания — это страдание. Он желал выигрывать дела. Желал денег. Желал уважения. Желал любви. И всё это приносило страдание. Даже когда он получал желаемое, страдание не уходило. Оно просто меняло форму. Превращалось в страх потерять. В скуку. В разочарование. В пустоту, которую нужно было заполнять новыми желаниями. Это был бесконечный цикл. Колесо, которое крутится и крутится, пока не упадёшь.

— Я упал, — сказал он.

— Нет, — ответил голос. — Ты остановился. Это другое. Падают те, кто бежит. Ты перестал бежать. Ты стоишь на месте. И это самое трудное. Труднее, чем бежать.

Он кивнул. Это была правда. Бежать было легко. Он бежал всю жизнь. Бежал от бедности. Бежал от посредственно-

сти. Бежал от отца, который говорил, что из него ничего не выйдет. Бежал от матери, которая любила его слишком сильно. Бежал от себя. От того себя, который сидел на крыльце дачи и смотрел на закат. От того себя, который был счастлив без причины. От того себя, который знал что-то важное, но не мог выразить это словами.

Теперь он стоял. Или лежал. Или сидел. Это не имело значения. Важно было то, что он перестал убегать. Остановился. Обернулся. Посмотрел в лицо тому, от кого бежал. И это лицо оказалось его собственным. Только старше. Только усталее. Только спокойнее.

— Я готов, — сказал он.

— К чему?

— Ко всему. К тому, что будет дальше.

— Ничего не будет дальше, — сказал голос. — Дальше — это иллюзия. Есть только сейчас. Только этот миг. Только эта комната. Только этот разговор. И его достаточно.

Он закрыл глаза. Веки были тяжёлые, как свинцовые шторы в старом театре. Он чувствовал, как сознание погружается в темноту. Не в ту темноту, которая пугает. А в ту, которая успокаивает. В темноту материнской утробы. В темноту сна без сновидений. В темноту, которая была до рождения и будет после смерти. Она была знакомая. Он знал её всегда. Просто забыл.

— Я тебя люблю, — сказал он голосу.

— Я знаю, — ответил голос. — Я — это ты. Ты любишь

себя. Впервые за сорок пять лет ты любишь себя. Это чудо.

Он уснул. Или умер. Или просто перестал различать. Это было не важно. Важно было то, что он впервые за долгое время был спокоен. По-настоящему спокоен. Как море в штиль. Как камень на дне реки. Как небо без облаков. Как ничто.

Проснулся он от шума в шлюзе. Еда пришла. Он встал, достал поднос. На этот раз там была не только каша. Там было что-то ещё — маленький кусочек шоколада. Он смотрел на него и не понимал. Шоколад был тёмный, почти чёрный. Он лежал на краю подноса, как драгоценность. Как знак. Как послание из внешнего мира. Он взял его в руки. Шоколад таял от тепла пальцев, пачкал кожу. Он поднёс его ко рту. Откусил. Вкус был горький и сладкий одновременно. Вкус был как детство. Как Новый год. Как утро рождения, когда мама приносила в постель подарки.

— Это проверка, — сказал голос. — Они хотят знать, помнишь ли ты. Помнишь ли ты вкусы. Помнишь ли ты мир. Помнишь ли ты себя.

— Я помню, — сказал он. — Но я не хочу обратно.

— Они не спрашивают, хочешь ли ты. Они просто проверяют.

Он доел шоколад. Облизал пальцы. Сел на кровать и уставился в стену. Стена была серая. Но теперь он видел в ней глубину. Он видел оттенки серого — от почти белого до почти чёрного. Он видел трещины, которых не замечал раньше. Видел пылинки, которые висели в воздухе. Видел, как

свет преломляется, проходя через них. Мир был полон деталей. Мир был полон смысла. Или не смысла. Просто полноты. Просто присутствия. Просто бытия.

— Я останусь здесь, — сказал он. — Я больше не хочу выходить.

— Ты и не выйдешь, — ответил голос. — Во всяком случае, не таким, каким вошёл. Тот, кто вошёл сюда, умер. Его больше нет. Есть кто-то другой. Кто-то, у кого нет имени. Кто-то, у кого нет прошлого. Кто-то, кто просто есть.

— Это хорошо?

— Это никак. Оценки — это тоже иллюзия. Хорошо, плохо — это слова. Они ничего не значат. Есть только то, что есть. Есть только бытие. Всё остальное — комментарии.

Он кивнул. Комментарии. Он помнил, как писал комментарии к искам. Сотни комментариев. Тысячи. Они были умные, точные, язвительные. Они приносили ему деньги и славу. Но теперь они казались ему пустыми. Пустыми, как консервные банки на свалке. Гремят, но внутри ничего нет.

Он лёг и закрыл глаза. Голос молчал. Вентиляция гудела. Время шло. Или стояло. Какая разница. Он был здесь. Он был сейчас. Он был. Этого было достаточно. Этого было больше, чем достаточно. Этого было всё.

На семьдесят девятый день (о чём он не знал) эксперимент перешёл в новую фазу. В шлюзе, вместе с едой, появился кусок угля. Маленький, чёрный, пачкающий пальцы. Он взял его в руки и долго рассматривал. Уголь был как послание из

прошлого. Из мира, где есть деревья, огонь, тепло. Он не понимал, зачем ему уголь. А потом понял. Ему дали инструмент. Ему дали возможность оставлять следы. Писать. Рисовать. Выражать то, что нельзя выразить словами. Или то, для чего слов ещё не было придумано.

Он подошёл к стене. Там всё ещё виднелись старые надписи, сделанные подошвой ботинка. Имя, которое он не помнил. Даты, которые ничего не значили. Обрывки фраз, которые он забыл. Он поднял уголь и начал рисовать. Рука двигалась сама. Он не думал, что рисует. Просто водил углём по бетону, оставляя чёрные линии. Линии складывались в фигуры. Фигуры — в композицию. Он рисовал лес. Деревья. Небо. Солнце, которое заходит за горизонт. Закат. Тот самый закат, который он видел в семь лет на крыльце дачи. Тот самый, который он носил в себе всю жизнь, не зная об этом.

Рисунок был кривой, детский. Линии дрожали, пропорции были нарушены. Но он был живой. Он дышал. Он светился изнутри, как уголь, который ещё не погас. Адвокат смотрел на рисунок и плакал. Слезы текли по щекам, смешивались с угольной пылью, оставляя грязные дорожки. Он не вытирал их. Это было не важно. Важно было то, что рисунок существовал. Что он создал что-то. Что он оставил след. Не в судебном протоколе, не в банковском счёте, не в свидетельстве о праве собственности. След в бетоне. След в вечности. След, который никто не увидит.

— Ты нарисовал себя, — сказал голос.

— Это не я. Это закат.

— Это ты. Ты и есть закат. Ты — это всё, что ты видишь. Ты — это всё, что ты помнишь. Ты — это всё, что ты любишь. Границ нет. Ты это уже понял.

Он кивнул. Он это уже понял. Границ не было. Стены комнаты были иллюзией. Тело было иллюзией. Мысли были иллюзией. Всё было единым. Всё было связано. Всё было одним.

Он повесил уголь на край раковины и лёг на кровать. Голос молчал. Вентиляция гудела. Время не шло. Он был счастлив. Или нет. Это было не важно. Он просто был. И этого было достаточно. И этого было всё.

Он закрыл глаза и увидел свою жену. Она стояла в прихожей и смотрела на него. У неё были светлые волосы. Родинка над левой бровью. Или над правой. Теперь он видел точно — над левой. Она улыбалась. Но улыбка была грустная. Она знала, что он уходит. Знала, что он уходит навсегда, хотя он сам ещё этого не знал. Она махала ему рукой. Он хотел помахать в ответ, но не мог. Руки были чужие. Тело было чужое. Всё было чужое, кроме этого момента. Кроме этой серой комнаты. Кроме голоса, который говорил с ним из тишины.

— Прощай, — сказал он. Или она сказала. Или голос сказал. Какая разница.

Он повернулся на бок и заснул. Уголь на стене медленно осыпался, оставляя чёрную пыль на полу. Закат исчезал. Или

становился вечностью. Одно другому не мешало. Эксперимент продолжался.

Тот, кто смотрит

Он начал забывать своё имя на девяносто четвёртый день. Это произошло не сразу. Сначала имя просто перестало иметь значение. Потом оно стало звучать странно — как слово, которое повторяешь много раз, пока оно не теряет смысл. Стол. Стол. Стол. Скажи «стол» сорок раз, и ты перестанешь понимать, что это такое. Так и с именем. Он повторял его про себя — утром, когда просыпался, и вечером, когда засыпал. Повторял, как молитву. Как заклинание. Как последнюю ниточку, которая связывала его с тем человеком, которым он был. Ниточка становилась тоньше. Она истончалась с каждым днём, с каждым часом, с каждым ударом сердца. И однажды порвалась.

Он сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и смотрел на свои руки. Руки были чужие. Пальцы с обломанными ногтями — он грыз их, когда нервничал, а нервничал он часто, почти постоянно, просто перестал это замечать. Линии на ладонях — он когда-то ходил к хироманту в каком-то переулке, в какой-то стране, в какой-то жизни. Хиромантка была старая, с бородавкой на носу, и пахло от неё чесноком. Она сказала: «У вас длинная линия жизни. Вы проживёте долго». Он тогда посмеялся и дал ей денег. Теперь он думал, что она была права. Он живёт долго. Очень долго. Целую вечность в этой серой комнате. И конца не видно.

Имени не было. Оно исчезло, как исчезает утренний туман над рекой. Только что было — и нет. Он попытался вспомнить. Напряг память. Там, где раньше было имя, теперь была дыра. Ровная, круглая, как от пули. Пустота на месте самого важного слова. Слова, которое он слышал с рождения. Слова, которым его звала мать. Которым его вызывали к доске в школе. Которое стояло в дипломе, в паспорте, в свидетельстве о браке. Которым его называла жена в постели, когда думала, что он спит. Которое кричали коллеги, когда он выигрывал дело. Всё это было. И всего этого не стало.

Он засмеялся. Смех был тихий, как шелест. Он смеялся над абсурдностью происходящего. Человек без имени. Разве так бывает? Бывает. Он был доказательством. Живым доказательством того, что имя — это просто звук. Просто набор букв. Просто социальная метка, которую вешают на тебя при рождении, как бирку на чемодан. Чтобы не перепутать с другими. Чтобы было удобно. Чтобы было понятно, кого звать к телефону, кого вписывать в завещание, кого хоронить. А когда людей нет рядом, имя не нужно. Когда ты один, тебя никто не зовёт. И имя атрофируется, как мышца, которую не используют. И однажды ты просыпаешься — и его нет.

— Как меня зовут? — спросил он у голоса.

Голос молчал. Это было странно. Раньше голос отвечал всегда. Раньше голос был рядом, как верный пёс, который кладёт голову на колени и смотрит преданными глазами. Теперь его не было. Может, он обиделся. Может, устал. Мо-

жет, это была проверка — сможет ли он обойтись без голоса. Сможет ли он быть один на один с тишиной, с пустотой, с самим собой.

— Ты здесь? — спросил он.

Тишина. Только вентиляция гудит. Только вода журчит в трубах. Только сердце стучит в ушах — тук-тук, тук-тук, размеренно, как метроном, который забыли выключить.

— Я знаю, что ты здесь. Ты просто молчишь.

Тишина. Он вздохнул. Вдох. Выдох. Воздух был тёплый, с привкусом пыли. Он провёл языком по зубам. Зубы были шершавые, покрытые налётом. Интересно, дают ли им пасту? Не давали. Только вода. Только каша. Только мясо. Только хлеб. Никаких излишеств. Никакой роскоши. Никакой пасты.

Он встал и подошёл к стене, где рисовал закат. Рисунок был всё ещё там. Уголь осыпался, но контуры держались. Деревья. Небо. Солнце. Он провёл пальцем по линии горизонта. Палец стал чёрным. Он посмотрел на чёрный палец и вдруг понял, что это его автограф. Его подпись. Его «здесь был я». Только имени под рисунком не было. Не могло быть. Имени больше не существовало.

— Меня зовут Никто, — сказал он вслух. Слова прозвучали глухо, но уверенно. Как приговор, который зачитывает судья. — Я — Никто. Это моё имя. Это моя суть. Это моя правда.

Ему понравилось. Никто. Это звучало честно. Это звуча-

ло точно. Он не был отцом — здесь не было детей, о которых нужно заботиться. Он не был мужем — здесь не было жены, которой нужно врать. Он не был адвокатом — здесь не было клиентов, которых нужно защищать. Он не был сыном — его мать умерла пять лет назад, а отец ещё раньше. Он не был никем из тех, кем его считали. Он был просто существом в бетонной коробке. Существом без имени, без прошлого, без социальных связей. Существом, которое ест, спит, дышит и разговаривает с голосом, которого, возможно, нет. И это существо зовут Никто.

Он подошёл к раковине и умылся. Вода была холодная. Он плескал её в лицо, тёр щёки ладонями. Щетина кололась. Борода росла уже три месяца — или сколько там прошло. Он не знал. Борода была длинная, свалывшаяся. Она лезла в рот, когда он ел. Он откидывал её рукой, как занавеску. Это раздражало. Но расчёски не было. Ножниц не было. Ничего не было. Только он и его тело, которое постепенно превращалось в нечто дикое, первобытное, до-человеческое.

Он глянул в воду, налитую в раковину. Вода была мутная, но в ней что-то отражалось. Смутный силуэт. Овал лица. Тёмные пятна глаз. Он всмотрелся. Это был он. Но он не узнавал себя. Из воды смотрел кто-то другой. Кто-то старый. Кто-то измождённый. Кто-то с безумными глазами, которые горели изнутри, как угли в потухшем костре. Он отшатнулся. Вода колыхнулась, отражение исчезло. Он стоял, вцепившись руками в края раковины, и тяжело дышал.

— Это не я, — сказал он. — Это не мог быть я.

Но это был он. Он знал это где-то глубоко, в той части сознания, которая ещё сохраняла остатки рациональности. Это был он — изменившийся, состарившийся, потерявший себя. Или нашедший. С какой стороны посмотреть. Он вспомнил фразу, которую кто-то сказал ему когда-то. «Мы не находим себя. Мы себя создаём». Кто это сказал? Какой-то философ. Или психолог. Или бармен в отеле, где он пил виски после проигранного дела. Неважно. Важно то, что это правда. Он создал себя заново. Из ничего. Из пустоты. Из тишины. Из голоса в вентиляции. Он стал Никто. И Никто смотрел на него из мутной воды.

— Привет, — сказал он отражению. — Я тебя знаю. Ты — это я.

Отражение молчало. Вода дрожала. Свет от лампы падал на поверхность, разбиваясь на мелкие блики. Он смотрел и смотрел, пока глаза не заболели. Потом выпрямился и вытер лицо подолом рубахи, которая когда-то была белой, а теперь стала серой, как и всё в этой комнате.

Он сел на кровать и начал вспоминать. Это было трудно. Воспоминания не приходили сами — их нужно было вытаскивать, как рыбу из проруби, по одной, с усилием, с болью. Но он старался. Он хотел понять, где он ошибся. Где свернул не туда. Почему он оказался здесь — в бункере, в изоляции, в одиночестве. Почему согласился на этот эксперимент.

Деньги. Да, деньги были причиной. Или ему так казалось

тогда. Сумма была большая. Очень большая. Семь нулей. Он помнил это. Он помнил, как смотрел на контракт и считал нули. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь нулей. Этого хватило бы, чтобы закрыть ипотеку. Оплатить учёбу сына в университете. Купить жене новую машину — она давно просила. И ещё осталось бы. На старость. На путешествия. На то, о чём он мечтал, но никогда не позволял себе.

Но деньги были не единственной причиной. Он знал это теперь. Деньги были отмажкой. Удобной, социально приемлемой мотивацией. «Я делаю это ради семьи». «Я делаю это ради будущего». «Я делаю это, потому что я ответственный человек». Враньё. Всё враньё. Он делал это не ради семьи. Он делал это, потому что устал. Устал от ролей. Устал от масок. Устал от бесконечного бега по кругу. Он хотел остановиться. Хотел исчезнуть. Хотел, чтобы его оставили в покое. И эксперимент дал ему эту возможность. Легальную, одобренную обществом, даже героическую в каком-то смысле. «Он пожертвовал собой ради науки». «Он пошёл на риск ради человечества». Красивые слова. А правда была проще: он сбежал. Сбежал от жены, которая пилила его за то, что он мало зарабатывает. Или за то, что он много зарабатывает, но не бывает дома. Сбежал от сына, который смотрел на него с неммым укором. Сбежал от коллег, которые ждали, когда он оступится. Сбежал от себя — того себя, которого он создал и который ему надоел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.